

Г.В. Хлебников
К ФАКТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ КНИГ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА О РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ: МАРИНА ЦВЕТАЕВА
О «РЕВОЛЮЦИИ» 1917 ГОДА.
ИЗ «ДНЕВНИКОВОЙ ПРОЗЫ»

Аннотация. В статье рассматриваются факты, подтверждающие концепцию А.И. Солженицына о перевороте 1917 г.

Ключевые слова: А.И. Солженицын; М.И. Цветаева; переворот 1917 г.; дневники; реквизиционные отряды; большевики; коммунисты.

Khlebnikov G.V. To the factual basis of A.I. Solzhenitsyn's books about the revolution and civil war: Marina Tsvetaeva about the «revolution» of 1917. From «The Diary prose»

Summary. The article examines the facts that support the concept of A.I. Solzhenitsyn about the coup of 1917.

Keywords: A.I. Solzhenitsyn; M.I. Tsvetaeva; the coup of 1917; diaries; requisitioning detachments; Bolsheviks; Communists.

*На месте прежних русских ратей
Царит один латышский полк.
Ликует банда красных братий,
И голос совести примолк.*

*Вся Русь в крови, в огне пожаров
И мчится бешено вперед,
Влача израненный народ
Под хохот пьяных комиссаров.
Василий Григорьевич Ян*

Изучая события 1917 г. и последующих лет в России, А.И. Солженицын обращает огромное внимание на доказательность и фактическую точность приводимых им сведений о грабежах и зверствах, совершаемых большевиками и коммунистами над обманом захваченной ими страной и его народом, не обходя молчанием и национальный вопрос: кто и как совершал противоправные действия, какие, в том числе и личные, интересы преследовал при этом. Среди использованных им документов были также многочисленные мемуарные и дневниковые источники, в разной мере доступные писателю в период работы над своими произведениями. Тем не менее часть из них (дневников) по разным причинам оказалась вне круга его внимания, иногда содержа в то же время впечатляюще яркий дополнительный материал, который может не только усилить и углубить доказательность положений художественных исследований А.И. Солженицына, но и расширить их фактический горизонт, введя новые событийные и психологические наблюдения.

С этой точки зрения тексты дневников М.И. Цветаевой, на долгие годы похороненные в самых закрытых тайниках спецхранов, интересны не только фактичностью, точностью, яркостью и живостью непосредственных наблюдений, тем, что они взяты из «гущи жизни» очевидцем происходящего, – что и само по себе бесценно. Но и тем, как тонко ей удастся передать атмосферу общественного сознания тех лет, показать, какими настроениями, слухами, ожиданиями жили самые различные группы населения: одни – делавшие переворот и участвовавшие в нем, другие – претерпевающие его на собственной коже и безмерно страдавшие от «социального эксперимента», третьи – преследовавшие

в «революции» и свои корыстные цели. Почему-то об этих предпочитали долгое время не говорить, умалчивать о них, словно таких никогда не было и быть не могло. Были, да еще какие! И сколько! Воспоминания современников, и Марины Цветаевой в том числе, не только показывают, кем и чем они были, какие интересы преследовали, но и что – можно предположить – вообще в каждом «революционере-большевике» был подобный частный интерес, своя маленькая подленькая цель, которую он, может быть, и сам себе открыто и прямо не высказывал, не признавался в ней, и тем не менее имел ее, радуясь и гордясь этим реальным и материальным преимуществом перед другими, не имевшими подобных «радостей»: кто повышенным пайком, кто, как главари переворота, севрюжкой и икоркой среди всеобщего голода и смертей детей, кто – служебной машиной с шофером, кто – безнаказанностью своеволия, а кто – всем этим сразу, да еще и «реквизированным» золотом и т.п.

Может быть, кто-то сочтет эти дневники чрезмерно эмоциональными. Другой, возможно, заметит, что это «женская реакция» на реалии жизни. Третий скажет: слишком натуралистично, не всем следует знать, лучше – в спецхран и т.д. Да, эмоциональная, да, женская, – и от этого еще более трагическая и правдивая. Да, натуралистично, как сама жизнь, из нее и взято М.И. Цветаевой.

Вот в нескольких предложениях описание ею поездки в поезде: просто и страшно, когда счет уже идет не на слезинки ребенка, а на десятки тысяч жизней живых людей, хитрой и коварной ложью, массовыми расстрелами разделенных и противопоставленных друг другу в искусственно раздуваемой и губительной для всех гражданской войне, в которой все участники в конце концов и погибли.

ОКТАБРЬ В ВАГОНЕ

(Записи тех дней)

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны. 56-й полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей

станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда...

ПИСЬМО В ТЕТРАДКУ

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться, – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам, и не знаю сейчас, – но тут следуют слова, которых я не могу написать.

...Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов.

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак.)¹.

Вот запись Цветаевой суждений о происходящем случайного попутчика, простого «мастерового», который не только понимает смысл и суть происходящего, движущие силы («все эти отребья красные»), но и высказывает метафизические предположения о сверхъестественной, духовной сущности всего феномена «новой жизни» как «сомущения Антихристового» (и тем как бы переключаясь с провидением Ф.М. Достоевского, видением М. Волошина и многих других).

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?» Я, смутно: «Да». Говорящий – мастеровой, черный, глаза, как угли, чернобородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью

¹ Здесь и далее цит. по сноске: 1. Цветаева М.И. Дневниковая проза. Режим доступа. – http://rullibrary.ru/tsvetaeva/dnevnikovaya_proza/1 (Дата обращения: 18.01.2018.)

заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне – вот всё эти отребья красные да свободы похабные – не что иное будет, как сомущение Антихристово. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, – жизнь-то серая, баба-то сивая. “Черт, шут”... Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими»...

А это картина – описание встречи с провидцем-поэтом Максом Волошиным, видящим все развитие «революции» в ее главном, сути: кровь, кровь и кровь. Русских, России, народа, государства, нации.

КУСОЧЕК КРЫМА

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<олошина> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. Видение Макса В<олошина> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<ереже> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России. – А теперь, Сережа, будет то-то... Запомни. И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь...

Контрапунктом к этому – татары, у которых время застыло и остановилось.

С Г<оль>цевым за хлебом. Кофейня в Отузах. На стенах большевистские воззвания. У столов длиннородые татары. Как медленно пьют, как скупно говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм? Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов новорожденных, до

вашей буржуазии разлагающейся... У нас уразá, мулла, виноград, смутная память о какой-то великой царице... Вот эта кипящая смоль на дне золоченых чашечек...

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в малиновой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость. Изваянность древних рас.

Зарисовка матроса-попутчика, сознание которого – мешанина выдержек из «революционных» газет и пропагандистских выступлений, но который имеет «свое» поучающе-высокомерное понимание происходящего.

Внезапно вяжется, верней – взрывается – матрос: «И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкера проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы! Сволочь!» (Ко мне:) «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло».

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости... Да какие у них дачи, – так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне... (Примиряюще:) – Вот и полсапожки плохонькие»...

Об этом матросе. Непрерывная матерщина. Другие (большевик!) молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?»

Матрос: «А я, товарищ, не ругаюсь, – это у меня поговорка такая». Солдаты грохочут. Я, созерцательно: «Плохая поговорка».

И тут же Цветаевой приводятся слова маленькой дочки, совсем из другого мира, уже оболганного, ошельмованного, оплеванного и затоптанного солдатскими сапогами.

Молитва Али во время и с времен восстания:

«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских, французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых и не-здоровых. – Всех знакомых и не-знакомых» [см.: сноска 1].

А здесь свидетельство того, кто и как работал в реквизиционном отряде, почему-то редко и мало кем вспоминаемая страница «великого октября». Глазами очевидцев. Сначала – посадка в вагон, народ и новые власти.

Москва, октябрь – ноябрь 1917

ВОЛЬНЫЙ ПРОЕЗД

Дорога на ст<анцию> Усмань, Тамбовской губ<ернии>.

Посадка в Москве. В последнюю минуту – точно ад разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас. Господи!» Страх, как перед опричниками, весь вагон – как гроб. И действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам. В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

И сами ревизирующие сознают, что занимаются чистым грабежом, но ведь прибыльно-то как и выгодно! М. Цветаева использует прием косвенного описания, *in extenso* приводя слова матери одного из реквизирующих, одновременно осуждающей сына и восхищающейся изобилием продуктов, отнятых у крестьян.

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и... почти что в роли реквизирующих. У тещи сын-красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грозят всякими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

– Уж три раза ездила, – Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся – понятное дело... Кто же своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да бойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так – человека по миру пускать? Ну захватил такую великую власть – ничего не говорю – пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида...

Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно... барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешишься, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск обирать – себя разорять! И корову доить – разум надо. Жми, да не выжимай. Да-а...

Оборотная сторона «революции» во всей красе встает из слов этой простой русской женщины, прекрасно понимающей, что, как, почему и для чего происходит.

«А уж почет-то мне там у него на пункте – ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одно-классники, оба из реалки из четвертого класса вышли: Колька – в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке – только что не купаются! Четвертый раз езжу».

В разговорах, которые ведутся в вагоне, Марина Ивановна фиксирует в немногих словах и тему отношения солдат и некоторых офицеров к религии, иконам, Богу, показывая через ответы и реплики уровень компетентности высказывающихся.

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу, – «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!» Солдат – офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?» Из темноты – ответ: «Я спирт социалистической партии».

Дневниковые записи пестрят колоритными описаниями приезда поезда, вербальными портретами действующих лиц, мизансценами обстоятельств, зарисовками индивидуальных особенностей языка, отражающих пореволюционную культуру вовлеченных в нее людей.

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чувствуемые, все без сапог, – идя со станции чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболопство и ненависть. Одна из них – мне: «Вы что же – ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына.) Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»... «Вы» – и: «Ну вас совсем – ко всем!»... Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорила: «С их родными еще в прежние времена знакомство водила»... (Оказывается, она лет 15 назад шла на жену моего дяди. «Собственная мастерская была... Четырех мастериц держала... Все честь честью... Да вот – муж подкузьмил: умер!».) Словом, меня нет, – я: при...

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно, и сбившего меня на эту поездку) – мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» – Второй сапог. – Вскликаю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!» Чирканье спички. Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки... Рыщут всюду.

– Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

– Да мы... Да нешто у нас... Сынок! Отец! Отцом будь!

– Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные – на стене – тени красноармейцев.

Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь Вдовствующей Императрицы.

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь – все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отпра-

вить. Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять?..

А расстреляют – все равно помирать!» И, окончательно убедившись, пью. В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

Еще портреты героев и действующих лиц «революции»: сначала – неопределенно-лично, но явно указывая национальность и социальную принадлежность, словно показывая слой участников преступления, а затем – конкретно и поименно, руководителей и исполнителей происходящего геноцида страны и его народа.

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей – семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет – тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать...

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады... (Знаменитая по-зверскости расправа.)

Уехали – не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях – лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) – маленькая (мизгирь!) наичернющая еврейка, «обожжающая» золотые вещи и шелковые материи.

– Это у вас платиновые кольца?

– Нет, серебряные.

– Так зачем же вы носите?

– Люблю.

– А золотых у вас нет?

– Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...

Ах, что вы говорите! Золото – это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота. (Я, мысленно: «Как и всякая революция!») [см.: сноска 1].

Замечание, закавыченное в скобках, красноречиво показывает, что М. Цветаева видела и знает о происходящем гораздо больше, чем может и хочет записать как очевидец. Но и зафиксированного ею достаточно. Золото для всех этих бессребреников, «чистейших и честнейших рыцарей революции», кажется, как-то особенно, мистически притягательно, видно желание забрать его и присвоить себе любой ценой и у всех.

– А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает.) – Мы могли бы устроить в некотором роде Austausch.

(Понижая голос:) – Ведь у меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например, – можно свиное сало, если совсем белую муку – можно совсем белую муку.

Я, робко: – Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена... И десять аршин розового ситцу... Она, почти дерзко: – А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно: – Я не только золотые вещи оставила, но... детей! (там же).

Она, рассмешенная:

– Ах! Ав! Ав! Какая вы забавная! Да разве дети – это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно:) – Для детей есть приюты. Дети – это собственность нашей социалистической Коммуны... (Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца»...)

Логика проста и прямолинейна, легко прочитывается М. Цветаевой: сейчас и ваши дети, и ваши золотые кольца – «это собственность нашей социалистической Коммуны», а поскольку мы ее представляем, олицетворяем, ее возглавляем, ею руководим, от ее имени действуем, то – наши, мои и Иоси; пока золото у нас – оно и у Коммуны, разницы никакой. По факту происходящего.

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше – владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

– Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне – это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета, – приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курительный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы...

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали... Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имел такую квартиру...

Да, вот они – наверное, «лучшие из лучших»: кристально чистые и бескорыстно преданные делу рабочего класса и крестьянства, когда ни о какой меркантильности, тем более личной заинтересованности и думать нельзя – кощунственно! – Не то, что говорить, etc. – здесь одни «новые святые» Революции.

И вдруг один раз, однажды и случайно поехала М. Цветаева – и какое дикое совпадение! – тут совершенно нетипичная, особая ситуация, прямо-таки – невозможная! Или, напротив, может быть, самая обыкновенная и на каждом шагу встречающаяся и встречающаяся? Как-то не очень верится в сплошные случайности да совпадения...

Вот бытовые сцены тех дней, будто выточенные из кости, а созданы несколькими точными словами.

Мытье пола у хамки.

– Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я,

знаете, совсем не могу мыть пола, – знаете: поясница болит! Вы, наверное, с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем свои два яйца без хлеба (на реквизиционном пункте, в Тамбовской губ<ернии>!)

Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны огромный круг. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил – умер!»). Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мецанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках; подозрительные угрюмые мужики, чужой хлеб (продавать здесь на деньги – не хватит и коммунистической совести!)

Всячески пария: для хамки – «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама – «буржуйка», для тещи – «бывшие люди», для красноармейцев – гордая стриженная барышня. Годнее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам – и одинаковая доброта: как колыбель.

«Господи! Убить того до смерти – у кого есть сахар и сало!» (Местная поговорка.)

«Не было смиреннее нашего города!» (Рассказ мужика по дороге в Усмань. – Не о всей ли России?)

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

Что им инфраструктура страны, высокие для того времени технологии, системы коммуникации, связывающие структуры страны и граждан... Главное: себя погреть, накормить, обогатить, а как и за чей счет – об этом уже тогда мало думали, создавая прецеденты и формируя примеры, становящиеся со временем матрицами регулярных разрушительных действий. А о рабсиле позже и вообще перестали заботиться. И опять беспощадно точно М. Цветаева пишет о главном, ради чего – все. Все, что за пазухой, возле сердца: для них и тех, кто с ними, против всей страны и ее

народа. И таким у них – золото. Гениальная поэтесса показывает это и мизансценами, и вербально, прямо называя словами не раз и не два.

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате. Присутствующие, было – опустив, быстро отводят глаза.

С утра – на разбой. – «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» – Как в сказке. – Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» – вольные, обеды – платные.) Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа – дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.) Купцы, попы, деревенские кулаки... У того столько-то холста... У того кадушка топленого... У того царскими тысячу... А иной раз – просто петуха... [см.: сноска 1].

Ничем и никем не брезговали, настоящие коммунисты-большевики ленинского призыва, Троцкого закала. Хотя при этом сами грабители полностью сознавали, что отнимая у крестьян последний куль муки, спрятанный для членов своей – часто тогда еще многочисленной семьи, – они обрекают их на голод и смерть, в первую очередь самых слабых: детей, женщин, стариков, но это выражалось лишь в сарказмах, словах фальшивого сочувствия, ухмылках. Им смешно видеть слезы.

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

– Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго-сопротивлявшееся вызывает в нем любованье.

– Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делу (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, – мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, mitten drinnen.

Разбойник, разбойникова жена – и я, разбойниковой жены – служанка. Конечно, может статья – выхвачу топор... А скорей всего, благополучно растряса свои 18 ф<унтов> пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же – без отдыши – выдышусь стихом!

Такая вот работа у большевика была: народ грабить, с собой зовут – выгоду обещают под честное слово.

Зовут на реквизицию. (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту!)

– Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как – целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!) Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется – даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевельнете! И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).

– Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами!

(Единственный в этой семье покупной «продукт»).

Ограничение свободы – личной и гражданских, политических и экономических у завоеванных и грабимых – уже тогда чувствовалось и шло семимильными шагами, превращая вчерашних свободных людей, привыкших еще недавно прямо выражать свои мысли и мнения, – в сегодняшних рабов, которым бандиты с партбилетами уже тогда начинали затыкать рты, что затем выродится не только в физическое, но и в духовное рабство всей страны, куда хуже античного.

*Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол!
Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща,
в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош –
Наксос!) вот уже вторая неделя – ни слуху, ни духу. У меня пока:
18 ф<унтов> пшени, 10 ф<унтов> муки, 3 ф<унта> свиного сала,
янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.*

Да, для таких, как М. Цветаева, – еще и заградотряды, другое название для «реквизиционных», откровенно разбойно-грабительских: отнять выменьянное, добываемое для детей. Искреннее слово и через 70 лет этой власти будет тяжело переносить. Срывались и тогда, когда враг таился меньше, чувствуя свою безнаказность, вооруженность перед разоруженными, выставляя наглость малограмотного хама перед вежливостью образованных и умных людей.

*Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда.
Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал – не помню. Помню только свой голос:*

*– Господа, если его нет – за что же вы его так ненавидите?
– А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?
– Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.
– Говорим, потому, что многие в эти пустяки еще верят.
– Я первая! Дурой родилась, дурой помру. (Это теща про-
рвалась.)*

Левит, снисходительно:

– Вы, мадам, – это вполне объяснимое явление, все наши мамыши и папаши веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)... что товарищ в таком молодом возрасте и еще имел возможность пользоваться всеми культурными благами столицы...

Теща:

– Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церковей одних сорок сороков, да монастырей, да...

Левит:

– Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: – Марксу.

Острый взгляд: – Вот именно.

Я: – И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок, – выдерживаю паузу.)

...Как же, – вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид.

– Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: – Еврей.

Левит, вскипая: – Ну это к делу не относится!

Теща, не поняв: – Кого жида убили?

Я: – Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: – И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: – Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: – Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это наоборот – один другого покрывает, кум обжегся – сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: – Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: – А дальше покушение на Ленина. Также еврейка (обращаясь к хозяину, любезно). – Ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: – И что же вы этим хотите доказать?

Я: – Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: – Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена Р.К.П. товарища Каплана.

Я: – Под портретом Маркса...

Левит: – И тем не менее вы...

Я: – И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: – А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жидка уложил, это мы и без того знаем.

Левит: – Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: – Какое такое оскорбление?

Левит: – Вы изволили выразиться про идейную жертву – жид?!
Кузнецов: – Да вы, товарищ, потише, я сам член К<оммунисти>ческой партии, а что я жид сказал – у меня привычка такая!

Теца – Левиту: – Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь – «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается – и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

– Хрисс – та – а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскაკивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

– Так вы вот каких убеждений. Мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите. – Это и к вам, товарищ, относится! – Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды... [см.: сноски 1].

– И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет. Ишь – расхотелся! Вот только змеем шипеть! Пятьдесят лет живу – такого страма...

Хозяйка: – Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Прозрение наступало уже тогда, когда еще было кому сравнивать еще недавно бывшее, новое, только появлявшееся – и какое, насколько страшное!

Сваха, отмахиваясь: – И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша – были у нас хлеб да каша, а теперь за кашей за этой – прости Господи! – как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: – Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатьевку надо.

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

А вот мнение другого участника революции, русского человека. Цветаевой интересно знать о нем все – и кто он, и что, его образование, знания, круг чтения, какая семья, как таким стал, как Стенька Разин (или без «как», для этого времени), и т.д. С таким она и пошутить не прочь.

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелкости. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз [см.: сноска 1] (...).

Говорим что-то о церквах, о монастырях.

– Вы вот, товарищ, обижаешься, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми – иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, – ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог – свет: всю твою черноту пропускает. Ни он от тебя черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот хотя бы отец мой, к примеру, – как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысией хвост, нашкодил – Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не читли, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто первый вор? – Поп. Обжора? – Поп. Гулена? – Поп. А напьется – только вот разве – барышни вы, объяснить-то вам неприлично...

– Ну а монахи, отшельники?

– А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку: ничего, кроме копченых там да соленых, да девок, да наливков-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

– А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

– Да сам, признаться, не читал, – все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня – великий церковник. (Вдохновляясь:) Где эту самую Библию ни открой – так тебе 10 страниц подряд слепыми глазами и шпарит...

А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не...»

Он, разгораясь:

– Жметя, мнетя, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная – в монастырь не иди, а моленная – глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух):

– Вы мне лучше про отца расскажите.

– О-тец! Отец у меня – великий человек! Что там – в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя – язык занозишь, а отечества нету. Три тыщи лет назад – да за семью за синими морями – тридевять земель пройдешь – в тридесятой, – это не хитро великим быть! А может, так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)... гривач косматый – вправду был?

Я, не сморгнув: – Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина – знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду – гриву распушили, по всем заборам расклеили.

– А вы, барышня, смелая будете.

– Как и вы.

(Смеется.) (...).

Был хорошим солдатом, пока не дали банк пограбить. Чувствует и ценит поэзию.

Два Георгия, спас знамя.

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А ничего не чувствовал! Есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка!

Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<лей>. Грабил банк в Одессе – «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.

– Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» – «Вас автомобиль ждет, Ваше высочество». Многие солдаты плакали.

Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»...

– Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекаатило: – ...Пойла – стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю – не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

– Попадётся.

– Я?! – Рожка из вдохновенной делается грабительской. Я – да попасться? Нерожён еще пропад тот, через который я пропасть должен! Нерожён – непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо. (Руки по карманам!) Хотите – сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударя кулаком в грудь) – по разинскому! (...).

После тещ, свах, пишен, помойных ведер, наганов, Марксов – этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин! (...)

И опять вагон, поезда; заградотряды, оказывается, не страшны, для Каплана – они свои. И междоусобица между самими большевиками.

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

– М<арина> И<вановна>, сматывайтесь – и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным, и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, – одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого, и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне – так уж безо всяких: – «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». – Такие дела!

А еще, знаете, другое удовольствие: ночью проснулся – разговор. Черт этот – еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет... Три деревни точно... Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж – Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: – Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: – И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный сыпной пункт – понимаете?

– Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

– С нами едет, – мать будто проводить. Не вернется. Ну, М<арина> И<вановна>, за дело: вещи складывать!

...И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

Дальше то, что можно определить как описание кровавого балагана хаоса, в который ввергнута страна и люди, в котором все мешается со всем: правда с вымыслом, люди и вещи, железный порядок штыков и произвол импровизации еще живых людей, жизнь и нависающая над всеми смерть.

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую – сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла),

в квадратную – полпуда N и свои 10 ф<унтов>. В общем, около 2 п<удов>. Беру на вес – вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

– Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

– Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст!)

– Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

– Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

– Ах, и в опере?

– Да, еще бы: бас. Первый после Шаляпина. (Подумав):

...Но он и тенором может.

– Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем...

– Ах, пожалуйста, – во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

– В Крем...?!

– Да, да, на всех кремлевских раутах. («Интимно»): Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы...

Она: – Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек – не жертва, надо же и для себя... И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: – Деньгами – нет, товаром – да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе – шелка, в Архангельском (вдохновляясь): меха и бриллианты... (...) [см.: сноска 1].

Посадка.

Поезд. – Одновременно, как из-под земли: 12 с винтовками. Наши! В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

– Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся – адем! Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны – завалы. А навстречу завалам вагонным – ревуще, вопиюще, взывающе и глаголюще – завалы платформенные.

– Ребенка задавили! Ре – бенка! Ре –

Лежачая волна – дыбом. Горизонталь – в стремительную и
обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Ввали-
ваются.

Я – через всех – Разину:

– Ну? Ну?

– Ус – неем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

– Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю
где, не знаю что, глаза из ям, взлет...

– А это что ж, а? Это что ж за птицы – за синицы?
Штыка – ами? Крестьянского добра награбили да по живому
человеку ступа – ать?

– А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пуцай вольным
воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.)
Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевид-
но», тоже есть, но где – не знаю. Потом найду.

А гроза голосов растет.

– Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а му-
жик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой
машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства Небесного ка-
кого... А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи то
же самое, что пробку из штофа без штопора: немислимо. Мне
быть выброшенной – другим раздаться. А раздаться – разле-
теться вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше –
некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человече-
ским дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом,
коленом сращенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной
сплоченности – полное ощущение потери тела. Я – это то, что
движется. Тело, в столбняке – оно. Теплушка: вынужденный
столбняк.

– Господа – а – а... О – о – о... У – у – у...

Но... нога: ведь нет же! Беспokoйство (раздраженное)
о ноге покрывает смысл угроз. Нога – раньше... Вот когда найду
ногу... И, о радость: находится! Что-то – где-то болит. При-

слушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко... Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие...

Рев: – Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно), – моя насущная праведная вторая нога [см.: сноска 1].

И – внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит! Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ<ернии> – последний привет!

Москва, сентябрь, 1918